Убойный конвейер

Куровозные телеги поднимались под навес разгрузочного пандуса, птица сыпалась на транспортёр, въезжала внутрь здания и падала на вращающийся стол карусели. Бригада женщин вокруг стола, в одинаковых салатного цвета халатах и шапочках, в защитных очках и марлевых респираторах ловила перепуганно трепыхавшихся кур и вешала на транспортёр. Три секунды на птицу. Поймать – повесить. Поймать – повесить. Пять тысяч раз в смену на каждую пару рабочих рук. Зимой в холоде. Летом в жаре. Всегда – в волнах аммиака. И птица, перевёрнутая вниз головой, покорно затихала.

– Если бы существовал куриный рай, дорога к нему начиналась бы от «киллеров», – сказал однажды сменный слесарь Дима Ёлкин напарнику Толику.

Ёлкин шёл вдоль убойного конвейера. Деловито и бесшумно работали глушители и «киллеры». Лились кровь и вода. Шипел вакуум, пощёлкивали перевесчики и потрошители, шелестели транспортёры, еле слышно звенели пилы, тихонько гудел «маэстро». Ёлкин, среднего роста, худощавый и жилистый, с первыми проблесками седины в чёрных, слегка вьющихся волосах, закончил очередной обход оборудования и вошёл в карусельную. Вошёл с определённой целью – потискать бойкую и весёлую разведёнку Нинку Любашину, к которой он, работящий и хозяйственный, но мрачноватый, с трудом сходившийся с людьми, а потому одинокий, был неравнодушен.

Дима не скрывал, что молодая женщина нравится ему, а потому поступал напоказ, чтобы все знали: не троньте, моя! А она, в то время, когда сердце млело в широких и жёстких, но не грубых мужских ладонях, ни на секунду не останавливаясь, продолжала ловить – вешать свои пять тысяч, одними локтями изображая сопротивление, и повизгивала:

– Ну Ёлкин …, ну Ёлкин же…, ну люди же смотрят!

Остальные женщины на карусели были замужними и смотрели на них с пониманием, а то и лёгкой завистью, не переставая ловить – вешать, ловить – вешать. И тут сквозь шипение, пощёлкивание и гул несколько женских голосов разом закричали из-за стены, от «маэстро»:

– Ёлкин! Ёлкин!!

Мысленно ругнувшись (ругаться вслух не позволяли присутствие Нинки и репутация невозмутимого человека), Дима пошёл на крики.

Пеструшка

На заселение пятого птичника привезли цыплят. Птичница сразу обратила внимание на одного. Он был таким же крохотным и суетливым, как другие, но на жёлтенькие спинку и крылышки ему будто брызнули рыжей краской.

– Ух ты какая пеструшка шустрая, – заметила она, когда цыплёнок быстрее всех кинулся к поилке.

Пеструшка оказалась любопытной курочкой. В то время как другие передви-

гались только от кормораздатчика к поилке и обратно, её пёстренькую спинку видела птичница в разных углах обширного помещения. Даже когда подросла и нежный пушок сменился пером, перо тоже казалось помеченным рыжими брызгами. Пеструшка обживала свой мир. Мир был сверкающе-белым и тёплым. Мир сначала пах только едой, а потом начал попахивать и аммиаком птичьих испражнений. Этот запах стал запахом дома. Включался свет, наступал день – время кормления. Свет гас, наступала ночь – время сна. Мягко гудели вентиляторы, всем хватало и корма, и питья. Птицы подрастали, свободного места в помещении оставалось всё меньше, они наедались и лежали на подстилке из опилок и испражнений. Только Пеструшка бродила по периметру птичника, хотя ей всё труднее было носить тяжелеющее, раскормленное тело.

И однажды в половине седьмого утра к воротам в торцевой стене птичника подъехали куровозные телеги. Ворота распахнулись, телеги въехали внутрь. Без лишнего шума в полутьме началась погрузка. Куроловы брали сонных птиц парами и бросали в металлические короба телег. Перепуганные внезапной переменой обстановки, те, кудахча, жались друг к дружке. Телега уезжала, на её место вставала новая. Пеструшка проснулась, почуяв неладное. Спала она, по своему обыкновению, у стены. Подальше от скопища пернатых. И попробовала улизнуть от неведомой, но явно ощущаемой опасности в самый дальний угол. Но птичница, получавшая зарплату от сданного живого веса, заметив её маневр, сказала куролову:

– Поймай по-тихому вон ту пёструю, пока курей не перебудила.

И беглянка оказалась в телеге. Рычал трактор, кузов потряхивало на неровностях дороги, когти птичьих лап скользили по металлу. Всё было чужое и незнакомое, только запах аммиака, пропитавший изжелта-белые перья товарок Пеструшки, был запахом дома. И он понемногу успокаивал. В курочке проснулось любопытство, и она глянула поверх бортика. От привычного сверкающе-белого мира не осталось ничего. К дороге подступали берёзы, прошла навстречу порожняя телега, потянулись мимо заборы и здания. Несколько поворотов, медленный осторожный разворот – и настил разгрузочного пандуса принял на себя новый груз. Кузов телеги начал распахиваться вниз, птица из головной секции с шумом и кудахтаньем посыпалась на транспортёр. Тут Пеструшка, сидевшая у заднего бортика хвостовой, с силой оттолкнулась лапами от металла, перепрыгнула через бортик и шмякнулась о настил. Она не ожидала падения с почти метровой высоты, потому испугалась. Но поднялась и постояла, осматриваясь. Потом начала осторожно, не спеша и с оглядкой, спускаться с пандуса. Рабочий, высокий парень с деревенским лицом, разгружавший телегу, лишь покосился на беглянку, но останавливать разгрузку из-за одной курицы не стал. Пеструшке хотелось есть и пить. Внизу, на асфальте, лежало просыпанное кем-то зерно.

Очередная телега с птицей почему-то задерживалась. Была середина мая, но жарило, как в разгаре лета. Карусельщицы вышли на свежий воздух покурить. Вышли и Дима с Нинкой. Отошли подальше от пандуса, где не так ощущался запах аммиака, и присели на ограждение газона.

– Бросай курить, – буркнул Ёлкин, – целоваться с курящей всё равно, что облизывать пепельницу.

– А сам?

– Я мужик, – убеждённо отрезал Дима.

– Ёлкин, а вон курица убежала, – чтобы отвлечь его от нежелательной темы, начала Нинка.

– Ну и пусть бегает.

– Поймай.

– Ага. Щас. Мне не за это платят.

– Ну я поймаю, – привстала она.

– Сиди. Туда, – он мотнул головой через плечо в сторону убойного конвейера, – она и без нас попадёт. Пусть поживёт, сколько сможет. Вон как зерно наяривает. Голодная.

– Хоть в канаву спрячься, дура, – крикнул он, будто эта пёстренькая курочка могла его услышать и понять.

Пеструшка доклёвывала зерно на обочине, когда мимо неё лихо пошла на разворот задержавшаяся на птичниках телега. Курица метнулась подальше от колёс и свалилась в канаву ливневой канализации. По дну канавы текла вода, и она, придя в себя после падения, первым делом напилась. Возле воды ползали соскучившиеся по солнышку дождевые черви. Беглянка клюнула одного, сглотнула. Ей понравилось, и она пошла вдоль канавы, поклёвывая червей и запивая водой. Здесь было хорошо и почти тихо, но жарко, как и наверху. Пеструшка брела, пока канава не упёрлась в водопропускную трубу, нырявшую под асфальт. Из трубы тянуло прохладой, и она пролезла внутрь. Здесь, внутри трубы, были и прохлада, и вода, и черви в илистом слое на дне. Пеструшка решила, что лучше места ей не найти. Она закопошилась, устраиваясь поудобнее, а устроившись, от пережитых волнений, усталости и полутьмы уснула.

Когда разгрузка телег закончилась, рабочий приступил к проверке территории и сбору почему-либо не попавшей на транспортёр птицы. Добросовестно заглянул во все углы, где могли притаиться куры, осмотрел газоны, проверил канаву ливневой канализации, только в трубу под асфальтом не заглянул. Да и что там было делать курице? Отправил всю обнаруженную птицу на карусель, кинул грязные перчатки в мусорный контейнер и со спокойной совестью пошёл в душевую.

На улице вечерело, когда Пеструшка проснулась. Она не сразу поняла, где находится. Полутёмная труба вместо привычного сверкающе-белого мира окружала её. Курочка бросилась туда, где увидела круг света, и вывалилась в канаву ливневой канализации со стороны, противоположной той, откуда попала в трубу. А когда вывалилась, вспомнила. Она вспомнила тревожное утро, поездку в куровозной телеге и ощущение надвигающегося страха, вытолкнувшее её наружу. Вспомнила и прижалась ко дну канавы. Но вокруг было спокойно. Откуда-то – из канавы не было видно, откуда – доносился мерный шум, похожий на шум работающих в птичнике вентиляторов. Постепенно беглянка успокоилась, встала и пошла вдоль канавы, поклёвывая червей и разную другую съедобную мелочь, запивая свой ужин водой.

Смеркалось. Канава упёрлась в бетонный забор. Под забором его строители оставили узкую протоку для схода воды. В этом месте откос канавы был пологим, и Пеструшка поднялась по нему в заросли сухой прошлогодней травы, рядом с которой уже пробивалась молодая крапива. Там она и провела свою первую ночь на свободе. Майская ночь была ощутимо холодной, звёздное небо заменяло сверкающе-белый кров, вместо вентиляторов тихонько шумели сухие стебли. Птичьи го-

лоса и шум машин на автотрассе где-то за забором то и дело будили курочку, а под утро совсем похолодало.

Встало солнце, и вскоре с той стороны, откуда пришла она вчера, послышался шум тракторов. На убойном конвейере начинался новый рабочий день, и до неё время от времени докатывалось оттуда ощущение страха и покорности куриной судьбе. Уйти подальше от источника этого ощущения мешал забор. Пеструшка попробовала пролезть в оставленную под ним протоку, но это ей удалось только тогда, когда разрыла она лапами слой ила на дне. По ту сторону забора тянулись такие же заросли сухой травы и молодой крапивы, так же журчала вода и ползали рядом с ней красные черви. За зарослями начинался берёзовый лесок, сквозь него проходила железная дорога, по которой, заставив Пеструшку вжаться в землю от страха, с воем и свистом пронеслась утренняя электричка из города. На опушке курица нашла ямку под полусгнившей корягой, залезла в неё и начала обживаться в своём новом мире.

Середина лета

Нинка Любашина называла Диму только по фамилии:

– Ёлкин, а Ёлкин!

Не потому, что ей не нравилось имя Дмитрий. А только потому, что так звали её бывшего мужа. Поначалу молодой женщине льстило, что муж ревнует ко всем встречным: «Значит, любит». Но когда тот начал скрипеть зубами на каждую её улыбку не в его адрес, а потом и отвешивать оплеухи, она просто собрала свои вещи и вернулась в родительский дом. А вскоре официально развелась. Ладная и видная, с лёгким налётом сдобности в лице и фигуре, Нинка не боялась одиночества. Но ухаживания Ёлкина поначалу встретила настороженно, сочтя схожесть имён залогом схожести характеров.

– Ты чё, Нинка? – искренне удивилась подруга, сманившая её перейти работать в убойный цех. И добавила, оттопыря вверх большой палец с маникюром френч на ногте:

– Дима мужик во!

Мрачноватый Ёлкин возле улыбчивой Нинки и сам начинал улыбаться. Теперь они вместе ходили на обед в фабричную столовую, временами уезжали после работы к нему, но всегда женщина ночевать возвращалась к себе, отклоняя предложения остаться до утра. Она даже в минуты, когда человек не владеет собой, ни разу не назвала его по имени:

– Ёлкин…, Ёлкин…, Ё-ё-ло-о-чки-и-ин!

Стояла середина лета, плавился асфальт под ногами, и плавилось сердце Димы Ёлкина, когда она называла его «Ёлочкин».

Поначалу каждый свой новый день в берёзовом лесочке между забором птицефабрики и линией железной дороги Пеструшка встречала, как последний. Грозно шумели над головой деревья. Вода падала с неба и заливала приютившую её ямку под корягой. Копья молний и громовые удары, казалось, целили прямо в неё. Вой электричек, спешивших из города и в город, настигал в любом месте лесочка и заставлял вжиматься в землю. Но больше всего курочка боялась бродячих собак, забредавших иногда в лесок. Стая эта обитала в посёлке за линией железной дороги, а вожаком был рыже-подпалый дворняга, сильный и быстрый.

Но день проходил за днём, дни складывались в недели, лето вступало в полную силу. В глубине леска, на возвышенном, не заливаемом дождями месте, Пеструшка обнаружила давно заброшенную нору под корнями берёзы и стала жить в ней. Лес в избытке снабжал курочку пищей, за водой она ходила к ручейку, вытекавшему из-под забора или пила дождевую. Её тело предубойной раскормленности стало поджарым и сильным, ноги крепкими и быстрыми, а острый клюв без промаха хватал добычу. Необходимость удирать от опасности научила помогать ногам крыльями. Однажды, спасаясь от собаки из стаи Подпалого, Пеструшка выскочила на обрыв. Спасения не было и она, как бежала, так и прыгнула вниз. Но вместо того, чтобы упасть камнем и разбиться о землю, полетела. Почти как птица, яростно ударяя воздух крыльями. И приземлилась внизу, метрах в двадцати от растерянного пса, за полосой непролазных кустов шиповника. Она запомнила чувство полёта и начала завидовать птицам. Невыносимо тосковавшая в первые дни по сытому и уютному миру птичника, Пеструшка вспоминала его всё реже, а потом и вовсе забыла.

Однажды собачья стая наткнулась на Пеструшку поблизости от её убежища, и курочка успела проскочить в нору. Подпалый, видя, что жертве некуда деться, с расправой не торопился. А когда сунул в нору морду, эта странная пёстрая курица, успевшая к тому времени отдышаться, прийти в себя и понять безвыходность своего положения, от отчаяния сделала единственное, что могло её спасти: ударила крепким клювом прямо в собачий глаз.

До вечера крутилась стая вокруг пеструшкиной норы, не рискуя соваться в неё и дожидаясь, когда хоть немного придёт в себя визжащий от боли вожак. Уже в сумерках собаки ушли, и только глубокой ночью Пеструшка выбралась из своей земляной крепости поискать пищу и воду.

Исполнение желаний

Наступила осень. Улетели на юг грачи, скворцы и ласточки. За ними потянулись клинья журавлей и шеренги цапель. Последние деньки догуливали на окрестных озёрах и болотах утки и гуси, готовясь к дальней дороге. И Пеструшка смотрела вслед свободным птицам в свободном небе.

Становилось всё холоднее. Она старалась реже покидать своё убежище, опасаясь встречи с Подпалым. Когда пёс потерял глаз, стая прогнала его, выбрав нового вожака, и теперь он, отощавший и потерянный, бродил в одиночку, лишь иногда с ним ходила сука, которую не принимала ни одна стая из-за хромоты. Хромая была чистопородной немецкой овчаркой и домом своим считала раньше двор трёхэтажного коттеджа в районе, называемом горожанами Полем Чудес. Но однажды попала под машину, и хозяин, дождавшись, когда срастётся сломанная лапа, увёз собаку подальше в лес и оставил там.

Окончив работу, карусельщицы в последний раз перед душевой вышли покурить на свежий воздух. Дима, вышедший вслед за Нинкой к газону с прибитой первым заморозком травой, держа в руке пачку синих «LD», заметил, что та не спешит закуривать и припомнил: сегодня он вообще не видел её курящей.

– А ты чего не закуриваешь, бросила, что ли?

– Всё, откурилась я, Ёлкин.

– Ты? Наконец-то.

– Да-да. Откурилась. И отвыпивалась. И с тобой, Ёлкин, откувыркалась, – сказала она легко и даже как-то весело.

– Не понял. Ну-ка, объясни, что случилось, – глаза Елкина сделались холодными и колючими.

– Что случилось, то и случилось. Ребёнок у меня будет. Мамой я стану, вот что случилось.

– Фу-у! – облегчённо выдохнул он. – Значит, так: со смены вместе едем к тебе собирать вещи. С этой минуты ты мне жена.

– А ты-то при чём? Ты своё сделал. Дальше я сама, – спокойно, как о давно решённом, ответила она.

– Как это – «сама»? – гася улыбку, ошарашенно вымолвил Ёлкин.

– Вот так. Я и ребёнок. И всё.

– А я?

Нинка пожала плечами, собираясь повернуться, уйти и закончить на этом тяжёлый, но необходимый разговор.

– Да что ты…, – крикнул всегда казавшийся таким невозмутимым Ёлкин и будто подавился этим криком, – да что вы со мной делаете?! Или я урод какой, что отцом хорошим быть не смогу?!

Она не знала, да и мало кто знал: когда бывшая жена Димы Ёлкина свою вторую беременность, как и первую, прервала абортом, он оставил её, сказав на прощанье:

– Тебе бы у нас на убойной линии вместо «киллера» стоять. У тебя убивать – хорошо получается.

Все последующие годы он копался в себе, пытаясь понять вину в случившемся, и не находил её. И облегчения тоже не находил. Нинка не знала этого, но вдруг поняла: ляпни она ещё хоть слово поперёк, и железный Ёлкин, чего доброго, расплачется. А на что он будет способен в таком состоянии, один Бог знает.

– Ёлкин ты, Ёлкин, – женщина шагнула к мужчине, подняла руку, быстро провела ладонью по его слегка вьющимся, чёрным с проседью волосам и удержала ею дёрнувшуюся назад голову, – Дима ты Ёлочкин….

Была та удивительная пора, какую испокон веков на Руси зовут бабьим летом. Пора, когда над остывающей, но ещё тёплой землёй летят паутинки, когда грохоток картофельных клубней, падающих в пустое ведро, веселит крестьянскую душу слаще любой музыки. Пора желанная, как последняя сигарета перед долгой и трудной работой. Прощальная пора.

Собирая последние дары осеннего леса, Пеструшка бродила неподалёку от своего земляного дома на пригорке, постепенно приближаясь к нему, как вдруг почувствовала тяжёлый, сминающий душу взгляд. Неслышно подкравшийся Подпалый готовился к последнему броску. Пеструшка кинулась было на пригорок, но, отрезая ей дорогу к убежищу, там уже стояла Хромая. Они всё-таки подловили курочку. И бросились на неё разом.

Но за миг до того, как Хромая сомкнула клыки на куриной шее, Пеструшка успела вогнать клюв в единственный налитый злобой глаз Подпалого. И тут её душа взлетела над осенней землёй. «Вот что мешало летать», – поняла она, увидев оставшееся на земле тело. Хромая, не оглядываясь на катающегося по жёлтым умирающим листьям слепого пса, ухватила это тело за голову и поволокла к логову, где ждали голодные щенки.

Пеструшка взлетела повыше. Невинные птичьи души, чередой поднимавшиеся от убойного конвейера прямиком в куриный рай, видели случившееся. И почтительно расступились, пропуская Пеструшку.

ПЛЁТКА

Тулеген был одним из двух дежурных электриков нашей смены. Другим – Коля Савченко. Они ввалились в наш вагончик, когда мы с наладчиком Витей Кохом только-только присели перекусить:

– О, да у вас – сало! Гляди, Коля – с чесночком! Давно мы не пробовали сала с чесночком.

– Ты же казах, Тулеген, – попытался урезонить его Витя, – тебе, по религии, сало есть не положено!

– Я казах, служивший в Советской Армии. И мне много чего положено, если стариков рядом нет. Старики в таких вопросах – хуже тигров уссурийских. Или тебе сала жалко, Кох?

Его армейская служба прошла в уссурийской тайге, на станции Камень-Рыболов под озером Ханка. Там и Китай, и Корея – всё рядом. А вот казахов, кроме него, не было. И принимали Тулегена за корейца, а чаще за бурята. Круглолицему, высокому и крепкому, кто-то дал ему там прозвище – «уссурийский тигр». В шутку, конечно. Но добродушному Тулегену понравилось это сравнение с редким, красивым и опасным зверем.

Как-то, в начале нашего знакомства, рассказывая о своих братьях и сёстрах – кто где живёт и чем занимается – высыпал он целый ворох казахских имён.

– Сколько же их у тебя? – спросил я Тулегена.

– У папки нас десятеро: семеро парней, со мной, да три сестрёнки ещё у нас. Я-то шестой по счёту.

– Вот как? Значит, мать у тебя – «Мать-героиня».

– Нет. У мамки нас трое.

– Как же так – у отца десять, а у матери трое?

– А вот так: у папки три жены. И мы их всех мамками зовём. А не назовёшь – не обижайся. У папки рука тяжёлая. Да они и сами своих родных детей от не своих особо не выделяли ни раньше, ни сейчас. Разве только – на своих работы побольше валили. А так – каждая мамка в своём доме живёт. Вот моя, например, ближе всех к школе. Так мы зимой, в самые морозы, всей оравой после школы к нам топали. Мамка накормит, посадит уроки делать, а самых старших к тем мамкам отправит. Скажут они – где мы, да что всё в порядке – и назад. Чтобы утром, когда самый морозяка давит, опять вместе да по короткому пути – в школу.

Отец его был табунщиком и неделями кочевал по степи с совхозными табунами и отарами. Как успевал он обеспечивать все три свои семьи? Тулеген говорил об этом туманно:

– Есть люди и побогаче моего папки. Но семьи такие, как у нас, большая редкость. Видать, не в деньгах тут дело.

Присели они к нашему столу, съели всё сало, запили чаем и ушли. Вместо «спасибо», Коля бросил уже в дверях:

– А сало у вас – так себе, мужики. Шкурка толстовата....

Два года назад, когда Тулеген был ещё не в нашей смене, понадобилось вызвать его на работу, взамен заболевшего напарника Коли Савченко. И я поехал в Каратас, где, как и в соседней Знаменке, вперемежку жили русские, казахи и немцы. На одной из окраинных улиц отыскался его дом. Водитель дежурного «пазика» посигналил, вызывая хозяина.

– Заходите в дом, мужики. Сейчас соберусь, – сказал Тулеген, узнав, в чём дело.

А когда мы уходили, я увидел: в прихожей, на стене возле двери, висела плётка. Обычная плеть пастуха-табунщика, из узких сыромятных ремешков, с деревянной рукоятью и темляком. Я спросил, кивнув на неё:

– У тебя верховая лошадь есть, Тулеген?

– Нет.

– Зачем же плётка? – удивился я.

– Это для другого дела, – ответил он, слегка смутившись.

И мне показалось, что провожавшая его жена, среднего роста, симпатичная приветливая казашка, чуть заметно улыбнулась.

Захрипела рация на стене:

– Начальник смены! Ноль седьмой выехал на весь кабель. Ждём электриков для переключения.

«Ноль седьмой», тяжёлый карьерный экскаватор весом в четыреста тонн, с четырёхзначным заводским номером, заканчивавшимся цифрами «07», в этот день переезжал из отработанного забоя в новый. Подошёл автобус, электрики забросили в него своё снаряжение, и мы поехали переключать «ноль семёрку». Спустя час она снова, гудя двигателями хода и постукивая траками, покатила к забою. А мы вернулись к себе, где Витя смотрел по телевизору «Свадьбу в Малиновке».

– Тулеген, а Тулеген, – начал Коля, когда нам надоели опереточные бандиты вкупе с опереточными красными конниками, – расскажи про свою свадьбу! Большой калым за невесту отдал?

– Не давал я калыма, – ответил он нехотя, – украл, и всё.

Но что-то очень тёплое шевельнулось в его душе, и он продолжил:

– Когда из армии пришёл, в Знаменке на танцах почти сразу её, Сауле, заметил. То есть я её и до армии видел, но она тогда совсем никакая была. Маленькая, худая, какая-то вся стеснительная. Ну, она стеснительной так и осталась, а в остальном.... Глянешь в глаза, а они – как звёздочки! В общем, разглядел я её!

– А потом?

– Она с сеструхой моей, Розкой, дружила. Розка нас познакомила, ходить стали. Папка узнал, говорит: ты серьёзно или просто так? А раз серьёзно, тогда начинай дом строить.

Воспоминания увлекали его всё сильнее:

– Два года не прошло, построили. Братья же помогали, да и другая родня. Спрашиваю однажды Сауле: хочешь моей женой быть? А она: я согласилась бы, если отец разрешит. Пошёл я с этим делом к папке. А он говорит: настоящий джигит должен себе жену украсть. А если боишься, что не получится, или вообще боишься, то сразу говори. Тогда пойду с её отцом договариваться.

Отца её в Знаменке зовут Одноглазым. Он тоже табунщик, как и мой папка. Высокий и жилистый, с носом, похожим на ястребиный клюв. Отчаянный и ловкий на коне. Не раз побеждал в кокпаре, пока однажды в запале кто-то не выхлестнул ему

плёткой глаз. Не нарочно, само собой. С тех пор он носит на глазу повязку. В общем, серьёзный отец у моей Сауле. Тигр уссурийский.

Начал я думать, как её украсть. Дело ведь непростое. Бывало, идёт она по улице, с обеда на ферму торопится, худенькая, косички на спине подпрыгивают, тут я навстречу. Увидит – и так заулыбается, что мне песни петь охота! Как же её, такую, украдёшь? Однако перед папкой себя уронить тоже не хочется.

Думал, думал – и придумал. Выбрал время, когда отец её в степи с отарами был. Тут брат Серик погостить приехал. Я к нему, а он: давай, мол, получится! Подговорили мы с ним сеструху. Тем более что они подруги. Хоть и в разных деревнях живут, а на одной ферме работают.

И вот идёт моя Сауле после обеда на работу. На ферму. А тут на папкиных «жигулях» Серик едет. Тормознул возле неё да и говорит: мол, не надоело тебе пешком ходить? Садись, подвезу! А на заднем сиденье Розка. Тоже ей: поехали, да поговорим дорогой. А меня в машине нет. Если бы я там был, она бы ни за что не села. Догадалась бы. А теперь думаю: может, и догадалась бы, да всё равно села?

Напротив следующего переулка Серик чуть-чуть притормозил. Я из переулка выскочил и, почти на ходу, запрыгнул в машину, на заднее сиденье. Саулешу мою к сестре прижал. Тут она всё поняла, да было уже поздно. И она заплакала. Тихонько, как дитё обиженное. Говорю брату:

– Останови, не могу я так!

А он:

– Да ты что, сдурел? Взялся – доводи до конца! – и только сильнее на газ давит.

Привезли мы её, а там уже гости ждут. За стол её посадили, а она всё плачет. Не так, чтобы сильно, а всё равно жалко её. Она и в спальне потом до утра проплакала, уж как я ни уговаривал. Так её в ту ночь и не тронул. А утром говорю:

– Ну, раз тебе в моём доме радости нет, иди назад, к родителям.

А куда ж ей теперь идти? Кто её возьмёт после того, как она в моём доме ночь провела?! Расписались мы с ней в ЗАГСе и стали жить. Папка мой к её отцу пошёл, а тот говорит:

– Тебя я уважаю, а парень твой чтоб к моему дому дорогу забыл. А то я ему ноги переломаю. Вот так.

А папка утром после того, как я Сауле украл, повесил в моём доме плётку. Плётка эта в доме нашей мамки раньше висела. Сколько я себя помню, столько она и висела. Я у папки спрашивал, зачем она тут, а он отвечал всегда одно:

– Вырастешь – узнаешь.

А когда в моём доме повесил, тогда же и рассказал. Я его выслушал и спрашиваю:

– Почему ты только сейчас это сказал? А не раньше?

Он отвечает:

– Родится у тебя сын и станет таким, как ты сейчас – тебе и решать, когда ему про эту плётку рассказывать. А я решил – так.

Захрипела, пробиваясь сквозь помехи, рация на стене:

– Наладчик, ответь сорок второму.

– Слушаю тебя внимательно, сорок второй, – взял трубку Витя, – говори, что случилось.

– Витя, у нас подъём дёргаться начал, приезжай.

– Вечно на сорок втором что-нибудь дёргается, – приговаривал он, складывая в сумку полный комплект электросхем, инструменты и прибор-«цэшку». Все электросхемы всех типов наших экскаваторов Витя знал наизусть, но немецкая пунктуальность всё равно брала верх.

Я ждал продолжения рассказа о плётке, но тут дошла очередь и до меня:

– Дежурный механик, ответь восемнадцатому.

– Слушаю, восемнадцатый.

– Николаич, у нас на правом повороте «наездник» задымил.

– Давно?

– Только что.

– Работайте пока без него. Сейчас что-нибудь привезу на замену.

Прошло недели две. Мы заступили в ночную смену. Коля Савченко отпросился по своим делам, Витя был на «сорок втором», где снова что-то «дёргалось», и Тулеген, чтобы не скучать одному в своём вагончике, зашёл к нам. По телевизору смотреть было нечего, и мы заварили свежий чай. Я спросил его, что же было дальше, после их свадьбы. И для чего всё-таки плётку эту отец его принёс?

– А дальше было вот что, – начал он, сперва не спеша, а потом всё больше погружаясь в рассказ, – долго моя Саулеша переживала, что всё так получилось. Родители её наш дом стороной обходили. И она иногда плакала. Папка мне говорит:

– Терпи, скоро всё наладится. Она у тебя уже беременная ходит. Не может быть, чтобы Одноглазый не захотел своего внука или внучку посмотреть.

Так оно и вышло. Родился у нас сын Ерлан. Ерик. Весь на меня похож. Только в носике его крохотном ястребиный клюв Одноглазого проступал. Папка опять к нему пошел, говорит:

– Внук у нас с тобой родился. Джигит.

И только тогда Одноглазый ответил:

– Ладно, на внука глянуть – зайду.

Я и тому рад был.

Когда они с моими родителями пришли, я в стайке был. Бежит жена, вся перепуганная: так и так, мол. Захожу в дом – стоит её отец над коляской, наклонился, смотрит на внука своего, и вроде как отмяк лицом. А я вошел – снова выпрямился, набычился, так и прожигает меня своим единственным глазом!

Снимаю со стены плётку. Сложил и протягиваю ему. И говорю:

– Вот тебе, отец, плётка. А вот моя спина. Бей, сколько хочешь, только прости.

А все стоят и ждут, что он сделает. Возьмёт плётку или плюнет мне под ноги и уйдёт. Взял. Тут я зубы стиснул – будь что будет.

И он ударил меня. Один раз. Сплеча рубанул, с оттяжкой. Будто молния врезалась в мою спину и пропахала её. Хоть и приготовился, хоть и зубы стиснуты были, а всё равно вырвалось сквозь них – то ли рычание, то ли хрип. А он в лицо мне глянул:

– Что, больно? Мне больнее было, когда ты мою дочь, как овцу из чужой отары, уволок!

Сложил плётку и протянул:

– Повесь на место. А когда мой внук вырастет, расскажи ему, за что я тебя ударил.

Папка говорит:

– Женщины стол накрыли. Пойдёмте праздновать!

Я плётку вешаю на крючок у двери и чувствую, как первые капли крови потекли по рассечённой спине. И думаю: «Зато моя золотая больше плакать не будет».

Тулеген замолк. По рации начальник смены вызывал экскаваторы. Из карьера в двухстах метрах от нашего вагончика слышались резкие сигнальные гудки «восемнадцатого». Витя Кох, закончив наладку на «сорок втором», запросил автобус. Чувствуя, что не всё ещё сказано, я заторопил:

– А дальше, Тулеген, что было дальше?

– А дальше? Сидим за столом. Папка с Одноглазым беседуют, общих знакомых и родню перебирают. Потом оказалось, что они в одном гарнизоне служили, только в разные годы. И ударились оба в воспоминания об армии. У меня боль спину рвёт и печёт, рвёт и печёт. И ничего мне больше не хочется. Рубашка на спине промокла и под меня уже кровь затекает. Глянул Одноглазый и говорит папке:

– Отпустим Тулегена? А то я свою руку знаю. Мало ему не показалось.

– Иди, сынок, полежи. Легче станет.

Уже в дверях, слышу:

– Крепкий у тебя парень. Теперь я за дочку спокоен.

Зашёл в спальню, постелил на нашу кровать клеёнку, для сына купленную, и лёг на неё животом. Только лёг – заходит Саулеша. Глянула на мою спину. Не охнула, не вскрикнула, только вдохнула как-то глубоко и со всхлипом. И вышла. Ну, думаю, за мамками побежала. Нет. Приносит тазик с тёплой водой. Тряпки какие-то, бинты и мази. Сначала рубаху на мне ножницами разрезала. Вымыла спину. Потом рубец мой свежий стала перекисью поливать. И всё молча, деловито, как будто всю жизнь это делала. Мазь какую-то прохладную по больным местам аккуратно размазала. И сразу боль стихать начала. Успокаиваться. Вдруг чувствую: губы её – легонько-легонько, осторожно-осторожно – спины моей возле самого вспухшего рубца касаются. И понял: она же мою рану целует! Уткнулся лицом в подушку. А подушка под моими глазами мокреть начала. Лежу и чувствую: надо будет сто раз мою золотую украсть – сто раз украду!

Когда она вышла, воду кровяную из тазика вылить, я подушку сухой стороной кверху перевернул. А то подумает, что из-за боли разнюнился.

Вот и всё. Две недели после этого я только на боку и на животе спал. А когда жена дочку родила, которую я в честь сеструхи Розой назвал, да стала она подрастать, тут я и обиду Одноглазого всё больше понимать начал.

Возле вагончика остановился дежурный «пазик». В клубах морозного воздуха, вошёл Витя. Мы снова заварили свежий чай и начали поздний ужин.

С тех пор прошло немало лет. Нет уже той огромной страны, в которой все мы были – вместе. Витю Коха дети уговорили перебраться к ним, в Германию. Коля Савченко на Украине, в Донецке. Я уехал в сибирский Двуреченск. Между нами тысячи километров и государственные границы. Тулеген так и живёт в Каратасе. Недавно его старший сын украл себе жену.

ПРОВЕРКА НА ВШИВОСТЬ

Гриша Ротермель и Саша Штриплинг дружили ещё со школы. По паспорту они были «советскими немцами», а так – просто двумя нормальными парнями, как все вокруг. Гриша, чуть повыше ростом, пошире в плечах и потемнее волосом, относился к Саше покровительственно, но не помыкал. Ему достаточно было, чтобы Саша знал – Гриша всегда и во всём первый. Он первым пошёл в школу водителей при ДОСААФ, а Саша – уже за ним.

Служили оба за баранкой. Саша водил тяжёлый «Урал» в «голубой дивизии», названной так местными остряками за то, что выброшена была в голую степь под Борзей, «столицей» даурских степей, в декабре тревожного семидесятого года под голубое забайкальское небо. А Гриша возил на «уазике» командира артиллерийского полка, стоявшего под Улан-Удэ, столицей Бурятии. На родину, в горняцкий посёлок среди казахстанских степей, вернулись почти одновременно. Гриша – чуть раньше. И пошли работать водителями на тяжёлые БелАЗы-«сорокачи», вывозившие по сорок тонн руды за одну ходку из забоев рудника горно-обогатительного комбината. В одном Саша опередил друга – женился на два года раньше на их однокласснице. Она ещё в школе заглядывалась на Гришу. Но потом почему-то передумала.

Они работали в одной бригаде, хотя и на разных машинах. Бывало, что в бригаде происходили перестановки людей с одной машины на другую или кто-нибудь уходил и на его место бригадир Николай Степанович брал новичка. Если в результате у Гриши появлялся новый сменщик, он делал напарнику «проверку на вшивость»: будто по забывчивости, оставлял в кабине, на видном месте, некоторую сумму денег. Обычно на следующий день сменщик протягивал ему эти деньги, выговаривая:

– Что, богатым стал – где ни попадя деньги разбрасываешь?

Но однажды новый напарник промолчал, а деньги исчезли. И Гриша нашёл способ избавиться от этого напарника.

Саше хватало того, чтобы быть своим среди своих. Грише хотелось, чтобы с ним считались не меньше, чем с бригадиром. Наверное, со временем так бы и вышло.

Но Союз уже трещал, и начался отъезд «советских немцев» на только что объединившуюся «историческую родину». Она не скупилась на гостевые визы, и на ПМЖ принимала людей без долгой волокиты. Перед самым падением СССР в Германию уехали родители Гриши и семья сестры Саши Штриплинга. А когда рухнул Союз, друзья, побывав у родственников в гостях, тоже решились уезжать.

Гриша и тут сумел опередить друга, и раньше него и выгоднее продав квартиру, гараж и свою салатного цвета «Ниву». Уехали обе семьи – вместе.

Прошло два года. Горно-обогатительный комбинат то останавливался, то снова начинал работать. Опустели полки магазинов. Начались задержки выдачи зарплаты. Кто-то уезжал совсем, кто-то устроился на угольные разрезы соседнего города и каждый день ездил на работу за пятьдесят километров. Советские деньги ещё были в обороте, но уже появились и новенькие тенге, украшенные портретами Аблай-хана, Чокана Валиханова и других известных казахов. Но и на них покупать было нечего. И тут в посёлок вернулся Гриша Ротермель с семьёй.

Поначалу мы подумали, что Ротермели приехали в гости, соскучившись на своей новой «родине» по родным местам и людям. Но Гриша, неделю пожив у дру-

зей, купил двухкомнатную квартиру в старой трёхэтажке на окраине посёлка. Тогда такие квартиры уже продавали за гроши. И пошёл работать на угольный разрез. Водить точно такой же «сорокач», на каком возил руду в комбинате. На вопросы, почему вернулся, отвечал только:

– Да ну их, с их козлячьими порядками!

И обрывал разговор. Или переводил его на другое. Гриша заметно изменился после возвращения, став молчаливым и замкнутым. Что-то тяжёлое носил он в себе, и оно поднималось со дна души, едва речь заходила о Германии и немцах. Видя это, мы отстали от него. И прикидывали, скоро ли вслед за другом вернётся Саша.

Прошло ещё полгода. И однажды, в конце июня, когда солнце дожигало дожелта степи вокруг посёлка, в ограду дома, где уже несколько лет после смерти жены и отъезда детей одиноко жил Альберт Густавович Штриплинг, отец Саши, ввалились гости. Саша, с женой и детьми, весёлые, хотя и усталые после трёх часов в самолёте и двухсот километров автобусом.

Вечером, когда ослабела жара и закончился рабочий день, во дворе под тополями накрыт был стол. Молодые Штриплинги, заметно уже приуставшие от хлопот, принимали соседей и друзей, охотно и с удовольствием рассказывая о Германии, о тамошних своих соседях и друзьях. И всё было хорошо. Вот только Гриша не пришёл. И на вопросы о том, что случилось с его другом в Германии, отвечал Саша одно:

– Об этом лучше него никто не расскажет.

И переводил разговор на другие темы.

Они гостили две недели. Ездили рыбачить на Иртыш. Несколько дней, взяв с собой отца, купались и загорали на озере Джасыбай, в крошечной «казахстанской Швейцарии» среди бескрайних, от Алтая и до Каспия раскинувшихся степей. Саша уговаривал отца перебираться к ним, но Альберт Густавович, сначала ничего сыну не отвечавший, перед самым отъездом сказал:

– Нет, Сашенька. Мама здесь лежит. Как я её одну оставлю? А вам – детей поднимать.

Последний перед отъездом вечер подходил к концу. Смеркалось, духота сменялась прохладой, танцы сменялись песнями на просторном дворе Альберта Густавовича.

– Что-то Гриха даже проститься не пришёл, – сказал Саше бывший его бригадир Николай Степанович, – а ведь какими вы друганами были!

– Да я и не ждал, что придёт, Степаныч. Гордый он. Ему свою гордость не обойти, не перепрыгнуть.

– Что ж между вами вышло, Санька? Не поверю, что вы там сцепились!

– Между нами – ничего. А вообще – вышло.

Прощальное настроение или выпитое вино, тёплые звёзды над засыпающей землёй или тёплые серые глаза Степаныча, которого уважал Саша, почти как отца – или всё это вместе всколыхнуло его душу:

– Вышло, дядя Коля, вышло!

Они закурили из бригадирской пачки. Саша затянулся и, не в силах больше молчать, начал:

– В переселенческом центре мы были вместе. Учили нормальный немецкий, обычаям и повадкам учились. Многие из нас новые специальности получали. Те, которые там востребованы были. А нам с Грихой сказали, что русских шоферов – и так! – с руками везде отрывают. Это здесь мы немцами были, дядя Коля, а там – русскими стали!

Через год выдал ему и мне этот центр направления на работу в одну и ту же транспортную компанию. Помог на первое время жильё снять. Дальше живи, как сам сумеешь.

Компания установила нам испытательный срок, дала машины. Не новые, но вполне приличные. И начали мы с Гришей по немецким штрассе рассекать. Работа простая: загрузиться товарами на складе, развезти их, согласно маршрутному листу и строго по времени, по большим и маленьким магазинам в городе. Ну и по окрестностям. А потом поставить машину в бокс. И всё. Это не сорок тонн руды из карьера на фабрику по серпантину тащить!

Так мы и работали. А однажды – до конца испытательного срока неделя оставалась – отработал я маршрут, гляжу, а в кузове мешок сахара остался. Мне в тот день вместе с другими продуктами десяток мешков его загрузили. Думаю: кто-то недобрал. Поехал назад, зачищать маршрут. По инструкции так положено. Объехал все места, где разгружался. Ни у кого недобора нет. В боксе сдал машину дежурному и поехал домой.

Утром прихожу к диспетчеру за маршрутным листом, а он говорит:

– Герр Штриплинг, вам сначала к герру Краузе надо!

Герр Краузе – это наш начальник. Захожу, сидит он за столом. На столе перед ним конверт какой-то лежит. Поздоровались. Он спрашивает:

– Как отработали вчера?

– Нормально, – говорю, – отработал.

– И всё было, как всегда? Ничего необычного? – спрашивает, а сам по этому конверту пальцами барабанит. – Даже в мелочах?

Берёт конверт и встаёт из-за стола. Тут меня будто кольнуло: мешок сахара! Я же про него и думать уже забыл.

– Нет, – говорю, – герр Краузе. Лишний мешок сахара мне вчера загрузили.

– И где он, этот мешок?

– В машине, а машина в боксе. Я что-то не так сделал, герр Краузе?

Он опять сел, ящик выдвинул и бросил туда этот конверт:

– Нет, герр Штриплинг, вы всё сделали правильно. Получайте маршрутный лист и приступайте к работе. А мешок у вас на складе заберут. Я им сейчас позвоню.

Дал диспетчер «маршрут». Выхожу – навстречу Гриха. Бледный. Сразу видно – не в себе человек. И ко мне:

– Саня, меня уволили!

Мы на людях всегда по-немецки говорили, чтобы внимания не привлекать. А тут он – от волнения – на русский перешёл:

– Представляешь, вызывает меня Краузе. Начинает расспрашивать про вчера, что да как. Нормально, говорю. А он: мол, вы такой хороший водитель, компании так жалко с вами расставаться, но ваши услуги нам больше не нужны. И конверт суёт. А в конверте – уведомление об увольнении и деньги расчётные! Вот так, Санёк!

Только сказал Гриха про конверт, мне сразу всё стало ясно. Даже ноги затряс-

лись от ясности – что было в конверте, который Краузе в стол бросил. Говорю:

– А у тебя – точно? – всё было, как всегда? Даже по мелочам?

– Да нет, как всегда, всё было, – говорит. Только мимо глаз моих смотрит.

Мне бы смолчать, дураку. Молча пойти за машиной да ехать по маршруту. Ему бы я всё равно ничем уже не помог. А я взял и ляпнул про свой разговор с Краузе. И про мешок сахара, и про конверт. С перепуга ляпнул, дядя Коля!

Его даже затрясло:

– Так это не ошибка была?! Это меня «на вшивость» проверяли?!!

Он так кричал, что вокруг нас люди собираться начали. Я говорю:

– Мне ехать пора, Гриша.

И пошёл за машиной.

Попытался он найти другую работу. Но без рекомендации с последнего места нигде не берут. Рекомендацию-то ему Краузе дал. В том же конверте она лежала. Хорошая рекомендация. Если бы не последняя строчка. А в ней сказано: «Склонен к нечестности». И, как только дочитывали люди до этой строчки, тут же ему отказывали. А без рекомендации брали только временно. Улицы мести или мусор вывозить. На день или два, пока найдут замену турку, который раньше эту работу делал.

Потыкался он, помыкался – а дальше вы сами знаете.

– А ты? – спросил Степаныч, прикуривая сигарету от сигареты.

– А я так и работаю. В этой же компании. Краузе наш после того случая как-то по-другому стал ко мне относиться. Мягче как-то.

Они вернулись за общий стол. Было совсем темно, и двор освещали два фонаря, над крыльцом и возле калитки. Гости разошлись. Только бригада, бывшая бригада Саши Штриплинга, сидела в полутьме за столом.

– Дайте, я на вас напоследок, на всех вместе, посмотрю, – сказал он, отступив к забору.

– Что ж на нас смотреть? Вот они мы, все живые, и долго ещё живые будем. И увидимся не раз!

– А рваните-ка нашу любимую! – попросил он.

И в восемь глоток «рванули» мы так, что за две улицы слышно стало:

На поле танки грохотали.
Солдаты шли в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

А Саша всё смотрел, будто навсегда насмотреться хотел! Когда мы дошли до:

Старушка-мама зарыдает,
Смахнёт слезу старик-отец,

он сполз, спиной по забору, в траву. То ли всхлипнул, то ли выстонал:

– М-мужики, как же я – без вас – там – б-буду?!

Обхватил руками голову, уронил её на колени и заплакал.